

АЖЛ

Антология Живой Литературы

ДО ГОРИЗОНТА
И ОБРАТНО



«СКИФИЯ»
Санкт-Петербург
2017

София Март

г. Москва



Журналист и писатель. Дебютный сборник рассказов «Ослепительный штиль» вышел в 2012 году; новая повесть автора «Острая кромка» опубликована отдельной книгой в издательстве «Беркхаус» и мультимедийном издательстве И. Стрельбицкого в 2016 году.

Из интервью с автором:

*Верю в то, что жизнь — это путь.
Смотрю по сторонам во все глаза, люблю долгие
разговоры с попутчиками, коллекционирую впечатления
и истории незнакомцев. Лучшие из них записываю.*

Москва — Париж

Я проснулась в Париже. На соседней подушке — Саша, моя университетская подруга, с которой мы дружим уже 8 лет. Должны же в жизни быть хоть какие-нибудь константы.

Когда люди говорят о городах, испестованных мировой любовью — как Париж, Венеция, Нью-Йорк, Петербург, да тот же Львов, — мне всегда обидно за нелюбимые города. Как Москва или Бобруйск — которые вечно то ругают, то общучивают. И вот такие города я всегда с особым рвением стремлюсь полюбить. Хочется их увидеть, почувствовать, просто дать им выговориться.

Так что в Париж я приехала с предубеждением, вооружившись большой графой, в которой давно пора было поставить галку.

Мы приехали в 6 вечера 8 марта. Это было вполне нормально: в России никто не расстроился, что мы не дали ему шанса поздравить нас хорошенько. В Париже нас встретили теплый ветер, полнолуние и целующиеся люди на всех улицах.

Совсем недавно по радио услышала, что во Франции до сих пор не отменен закон, запрещающий целоваться на перронах. Он был введен еще в XIX веке, потому что поезда постоянно опаздывали из-за долгих прощаний влюбленных, и до сих пор на большинстве вокзалов можно найти таблички, где написано, что целоваться запрещено, — более того, почти на всех вокзалах были предусмотрены специальные места для прощания. Однако закон не предписывал никаких санкций за его нарушение, поэтому его никто и никогда не соблюдал.

Мы сняли крошечную квартиру на рю Люлли, в доме напротив Национальной библиотеки Ришелье. Открыв дверь своего вре-

менного дома на мансарде, мы улыбнулись: как только мы зашли, квартира сразу кончилась. Должно быть, примерно в таком месте жил герой «Шагреновой кожи» Бальзака перед тем, как разбогатеть.

В 6 утра по местному времени нас разбудили яркое солнце в окно и сумасшедшие птицы. Чем они занимались на подоконнике, только им самим ведомо, — как только я легла поперек кровати и протянула руки к окну, чтобы открыть его, голуби тут же разлетелись.

В маленькой светлой квартирке было очень уютно утром, но нас мучили фантазии о свежем кофе с теплым круассаном. Умывшись и наспех одевшись, мы вышли на улицу.

В сквере под нашими окнами журчал фонтан, вокруг него на аккуратных скамейках сидели французы с газетами в руках. Все такие из себя «бонжур», в небрежно повязанных шарфиках. Улыбались, как будто с удовольствием встречая утро.

В первые же минуты в Париже бросается в глаза обилие красивых людей. Это делает особенно приятной привычку французов совершенно беспардонно провожать взглядом молодых девушек, которые ходят по улицам.

В Париже цвели нарциссы, бал правила весна. Почти каждую минуту в радиусе трех метров от нас француз целовал француженку, и туристы старались от них не отставать. Это придавало солоноватый оттенок вкусу нашего путешествия. Люди целовались везде: в скверах, парках, на скамейках и под скамейками, на набережных, на мостах и под мостами, в музеях и костелах. Они целовались, стоя в очереди, сидя в кафе, идя по улице, просто так, почти ежеминутно. Сначала это умиляло, потом смешило, потом надоело, потом уже вызывало вопрос, почему мы здесь с подругой вдвоем.

В конце концов это перестало бросаться в глаза и стало чем-то неотъемлемым от образа города.

В самом деле, я не знаю, как можно в Париже не хотеть курить, постоянно пробовать новую еду, пить вино, любить, петь и рисовать. Парижане, кажется, только этим и занимаются. Еще бегают и катаются на велосипедах. Мы даже видели мадам лет 50 от роду,

в босоножках и полущубке, в шикарных солнечных очках, в юбке и жемчугах — она ехала на велосипеде мимо нас, когда мы стояли на светофоре.

Улицы Парижа полны звуков. У Люксембургского сада мы видели шарманщика, у Нотр-Дам-де-Пари вечером играл аккордеон — впрочем, он много где играл. На проплывающих мимо или пришвартованных у берега лодках играли трубачи. У музея Орсе парень играл на пианино, прямо на улице. У Королевского моста чернокожие ребята стучали в барабаны. На острове Сите нам попадались гитаристы, рядом играла и пела целая группа — контрабас, барабаны, гитара, скрипка, певица. Рядом какой-то дядька выдувал огромные мыльные пузыри, а дети, проходя мимо, громко общались об этом мамам и папам.

Вечером мы обнаружили, что Лувр находится в 15 минутах ходьбы от нашей квартиры. В двух шагах от него — знаменитый театр «Комеди Франсе» и первый в мире памятник Мольеру. У театра красивый фонтан, подсвечиваемый ночью. Я шла по его бортику, Саша пыталась меня фотографировать, отмахиваясь от компании клошаров, которые звали ее пить вместе вино.

На мосту Искусств сидели в кругу студенты: в центре подсвечник со свечой, вино, бокалы, огромные тарелки с едой — студенты что-то громко пели и смеялись. Мы обратили внимание на тысячи замочков, которые оставили влюбленные на стенках моста: «Анна и Марчелло», «Киса и Володя», «Софи и Ролан». На одном замке значилось Forever alone.

Последнее было мне непонятно. В Париже нельзя остаться без порции любви.

Во второй день мы сидели с Сашей на берегу Сены в кафе, за соседний столик присела пожилая дама. Спросила, как называется мост перед нами. Сен-Мишель. Скоро мы узнали, что старушка родилась в Праге, живет в Лондоне, работает экономистом, приехала на конференцию. Смешная, сморщенная, с переломанными ногтями и волосатой бородавкой на подбородке. Но в аккуратном синем костюме, с шарфиком и красивыми сережками, носит чудесный парфюм, который ей сын подарил. Мы менялись впечатлениями о

Париже, и она сказала, что главная его достопримечательность — это мужчины.

— Представьте себе, даже я тут получила обожателя. В моем-то возрасте! Вы можете в это поверить?

И тут она захихикала, как девчонка.

Я смотрела вокруг и думала, какое счастье быть живой.

Вечером мы стояли с Сашей на Королевском мосту, смотрели на светящуюся Эйфелеву башню. Когда она перестала мерцать, мы продолжили свой путь и ровно посередине моста увидели написанное черной краской до боли знакомое слово из трех русских букв. Когда человеку в Париже больше нечего сказать про жизнь, это пугает.

На третий день в Париже мы встретили Марка. Это произошло возле собора Парижской Богоматери: мы переходили дорогу, а он прислушивался к тому, как мы говорили по-русски. К счастью, Марк отлично знал английский, поэтому мне не составило труда пояснить, что ему не показалось, мы приехали из России, чтобы увидеть город, в котором он живет. Марк провел нас к Сен-Шапель, где мы любовались витражами — в солнечный день они завораживают. Потом он спросил:

— Как долго вы здесь пробудете?

— Десять дней.

— О нет!

— ?!

— Десять лет было бы лучше.

Марк, кажется, объединил все парижские штучки в одном лице. Сама галантность, «эскизе муа, о, пардон, улала, бэлль», привычка насвистывать что-то из репертуара Азнавура, Гинсбура, Гару, Каас или Тирсена. И вечный взгляд, совершенно спокойно и прямым текстом говорящий о намерениях, — причем, должна сказать, в Париже это не вызывало ни возмущения, ни удивления.

Марку около сорока, он мотается по Европе и частенько бывает в России. Мастер спорта по шахматам и по совместительству глава маленького дизайнерского бюро. Звал нас с собой кататься.

До Лондона и Амстердама три часа, до Брюсселя час двадцать. Или куда бы вы хотели? Он любит просыпаться по утрам с мыслью о том, где бы он хотел оказаться сегодня. Когда до другой прекрасной страны тебе ехать (и без всяких виз) всего пару часов, нет ничего проще.

— Недавно меня лишили прав на время, так что своей машиной я все равно пока что пользоваться не могу. Возьмите ее и поезжайте завтра в Версаль. Как вам такая идея?

— Марк, у тебя есть, как минимум, три причины сейчас же взять свои слова обратно.

— Да? Какие?

— Во-первых, мы русские и любим быструю езду. Во-вторых, мы девушки и за рулем мы подобны фашистам в танке. В-третьих, эй, мы почти не знакомы.

— А вот последнее я хотел бы исправить. Вы говорили, что ваша квартира маловата? Оставайтесь у меня! И можно даже не только на оставшиеся дни в Париже, но и подольше.

Я проснулась в Москве через неделю.

Предложение Марка остаться не обсуждалось, об этом даже речи быть не могло. Но вернувшись в немую Россию, я задумалась, а почему, собственно, мне никогда бы не пришло в голову согласиться или обдумать предложение остаться с кем-то малознакомым в Париже.

Быть свободной настолько, чтобы соглашаться на подобные предложения или мечтать о них значит быть достаточно одинокой, чтобы с уверенностью заявить, что мне не к кому возвратиться назад. Это было бы драматично, вы знаете... Но снова проснувшись в своей квартире на «Юго-Западной» и в полном одиночестве, я решила, что с Марком могло быть всего две причины для отказа: либо я трусиха, либо он не тот мужчина, с которым я согласилась бы отправиться даже в рай, не то что — в Париж.

Однако есть воспоминание, связанное с Марком, за которое я всегда буду ему благодарна. Одним очень теплым вечером он назначил нам встречу на станции метро «Анверс» — поднявшись наверх, мы попали на Монмартр. На лестнице у церкви Сакре-Кёр кипела веселая пьяная жизнь, хотя времени было 10 часов вечера и день был будний.

Марк достал из портфеля красное вино, камамбер, багет и сказал: «Посмотрите вниз. Весь Париж у ваших ног!» В других обстоятельствах вряд ли нашлась бы фраза пошлее этой. Но было начало марта, цвели сады, рядом пели и танцевали счастливые люди, справа сидела Саша, слева Марк насвистывал вальс Амели, вино было отличное, сыр был очень вкусным. Я хлопала в ладоши и подпевала, мыча от удовольствия. И мыслей в голове не было совершенно ни одной.

Я не хотела бы жить в Париже, но Монмартр, конечно, меня покорила. В следующий раз мы вернулись туда с Сашей утром, это был наш последний день в Париже. Я выучила маркову фразу «j'aime Paris» и даже кружилась иногда, улыбаясь и глядя на элегантно белые облака над столицей Франции. Мы шурились от солнца, ходили в джинсах и футболках, напевали что-то из «Амели», я снимала на видео девушку, которая пела и плясала на фоне белоснежного бока Сакре-Кёр, и видела всех этих художников.

В Париже, как нигде в мире, людям необходимо помнить о своей половой принадлежности и совершенно необходимо быть любимыми. Я не знаю, почему. Но если бы в Париже мне не встретился Марк, который ради шутки временами ловил мою руку или целовал меня в висок, говоря: «Какая же ты красивая» — если бы не Марк, я бы могла почувствовать себя несчастной весной в Париже, без следа любви в сердце.

В последний день в Париже я все же заявила, что еще вернусь. Чтобы посетить Оперу, обязательно в вечернем платье, а потом, не переодеваясь, дойти до моста Искусств, там снять туфли на шпильке, сесть по-турецки, пить вино и целоваться.

И есть еще один пункт обязательной программы — медленно и томно танцевать, обнявшись с любимым и закрыв глаза, на набережной Сены ночью, тихо напевая ему на ушко знакомую песню о любви. Это тоже давно клише, но что с того.

Вообще я думаю, что проблема обласканных всеобщей любовью городов в том, что, чем ты тут ни займись, до тебя это здесь уже кто-то делал. И все-таки есть города, в которых забраться ночью на вершину холма и сказать: «Смотри, весь город у твоих ног» или бросить монетку в фонтан, чтобы вернуться, — это как сказать:

«Я люблю тебя». Так все говорят и иногда очень зря, но от этого сами слова в цене не теряют.

Через месяц Марк приехал в Москву, мы гуляли вместе по городу. Мы зашли во французское кафе — проверить, насколько оно правильное, и выпить кофе. Смеясь, я сказала Марку:

— Послушай, ну честное слово, у нас с тобой ничего серьезного не выйдет.

— Но почему?! — снова включился Марк.

— Да потому что вы, французы, всегда отдаете предпочтение форме, а не содержанию. Ну вот смотри, — я указала на горячий бутерброд с сыром, ветчиной и яйцом сверху. — Как это называется?

— Крок мадам.

— А чем он отличается от крок месье?

— Крок месье без яйца.

— И ты согласен с этим?

— Ну... Господи, принцесса парижская и московская! При чем здесь это?!

— Да потому что крок месье с точки зрения содержания должен быть с яйцом, а крок мадам — без! Это же ясно как дважды два!

Марк хохотал, откинувшись в кресле и прикрывая губы салфеткой. Успокоившись, поцеловал меня в висок:

— Seriously, ты должна быть моей. Скажи, что мне сделать? Я готов тебя ждать, добиваться, работать над этим. Только разреши мне это.

Как было объяснить человеку, что я, как минимум, не смогла бы ему этого запретить, если бы он действительно собрался делать все то, о чем говорил так изысканно с французским прононсом.

— Честное слово, Марк, будет уже. Я ведь не ломаюсь.

— Опять закрыто. Я сейчас не уговариваю тебя, но я должен это сказать, и это будут мои последние слова на эту тему, договорились?..

Я с улыбкой моргнула, делая большой глоток остывающего кафе кремме.

— Ты не можешь знать, хорошо будет или плохо, если не попробуешь. Дай мне пару недель, месяцев, лет — как получится.

— Ты торгуешься, дорогой Марк. С женщиной, которая «должна быть твоей», торг неуместен.

В следующий раз Марк прилетел по делам в Москву, мы встретились в фойе метро «Арбатская».

Дважды целуя меня в щеки при встрече, он сказал:

— Ça va?

— Oui, ça va, — ответила я.

Он отошел на шаг назад, оглядел быстрым взглядом с головы до ног и сказал:

— Ooh la la! Неужели ты наконец влюбились?

— О боже, Марк! Неужели это единственная причина, по которой я могла ответить, что у меня все хорошо?

— Ну знаешь, дорогая. — Он обнял меня за плечо, и мы вместе пошли к выходу. — Все дороги ведут в Рим, а все дела в постель. И только в этом случае они действительно идут хорошо.

Впрочем, иногда Марк говорил интересные вещи.

Например, рассказал, как однажды приехал в Японию и представил заказчику модель проекта, над которым полгода работал вместе с командой его дизайнерского бюро. Они жили этим проектом, дышали им, фонтанировали идеями, видели его в снах — прекрасных и ужасных. В итоге сделали нечто гениальное (по рассказам).

— Ты не представляешь, с какой гордостью я летел к нему на встречу. Знаешь, дорогая, у всех в груди живет орел — так вот, во время того перелета из Парижа в Токио мне казалось, что мы летим не в самолете, а на крыльях моего орла. Это был лучший проект за всю мою жизнь! Просто гениальная идея! Безупречно исполненная! Блестяще оформленная!..

— О'кей. И что?

— Старик открыл футляр. Вертел модель молча и задумчиво. Убирал в коробку, доставал снова. Я не знаю, сколько времени прошло, но я устал улыбаться. В итоге он сказал: «Этот макет не идеален». Кааак? А японец со спокойной миной пояснил: «Когда я открываю коробочку с чем-то новым, я хочу услышать щелчок. Ваша коробочка открывается беззвучно, поэтому мне кажется, что и модель в ней несовершенна». Это был самый мудрый совет, который я услышал за свою жизнь. С тех пор я не останавливаюсь, пока помимо совершенства не придумаю для своей работы еще и этот «клик».

В июне мы встретились с Марком в Петербурге. Марк прилетел на день раньше и пошел в Эрмитаж. Он действительно считал, что каждый раз в Петербурге он обязательно должен пойти в Эрмитаж, и это так скучно, что я даже морщилась. Ну как можно! Летом, когда нет дождя, целые дни тратить на Эрмитаж — каждый раз?! Я имею в виду, когда тебе 36, как Марку, а не 63, как в случае, когда такой сценарий был бы уместен.

На следующее утро после его похода мы встретились в Летнем саду. Он сказал, что будет ждать меня у пруда с лебедями, и это было обязательно. Французы такие французы.

Мы зашли выпить кофе в маленькое кафе у Фонтанки: перед нами настезь открытые окна, мы смотрим на фонтан и розы вокруг него, Летний сад пуст, и я спрашиваю:

— Что ты смотрел в Эрмитаже на этот раз?

— Ничего.

— То есть как?

— Я зашел внутрь, заглянул в окошко кассы и спросил: «Сколько с меня?» Мадам мне ответила: «Сегодня в музее день открытых дверей, посещение бесплатно». Я попросил ее взять деньги и сделать вид, что я пришел завтра. She said: ha-ha-ha. А я не понимаю. Эрмитаж — бесплатно?! Я все-таки зашел. Шел по коридору и чувствовал, что все кругом — дешевая подделка. Вышел через пять минут и сказал, что зайду в другой раз, когда посещение будет платным.

Я сказала: «ха-ха-ха». А потом подумала, что он прав. Настоящие шедевры бесплатно смотреть нельзя, элитарное искусство должно быть элитарным до конца. В Москве это знает каждый фрилансер. Если хочешь казаться круче, чем ты есть, установи цену и никогда не соглашайся сделать или «немножко сделать» что-то бесплатно.

В июле мы с Сашей съездили в Вильнюс. Марк по телефону возмущался, как я могла поехать туда без него. «I know Vilnius like my rocket!» Как это верно! Все города, в которых бывал Марк, легко поместятся у него в кармане, потому что он не погружается в них — это они тонут в нем. Панимаишь? В Петербурге, белой ночью, сидеть на пристани — и пить французское вино под французскую же музыку. Так же как в Лондоне, Брюсселе, Париже, Вильнюсе и прочих городах мира? Нет уж, дудки.

В августе мы гуляли по городу — я молчала и смотрела вдоль Сены, Марк насвистывал вальс Амели. Это он меня научил: «Ты не должна никому ничего объяснять. Если кому интересно — пусть угадает». И тут вдруг положил руку мне на спину и участливо поинтересовался: «Са ва?» «Да, — сказала я, — са ва». Это прозвучало так, будто я отнюдь не жаворонок, а значит, еще не вечер.

В книге кого-то из фэнтезистов у магов было такое приветствие: «Здравствуйте, как поживает ваша сова?» Марк обвинил меня в шовинизме, когда я сказала, что не способна любить иностранца. Рассказывал про орла, когда я говорила, что не собираюсь экспериментировать. Морщился: «Опять закрыто». Целовал в висок всегда неожиданно: «Панимаиць?» Это было мило. Но как можно всерьез относиться к тому, кто не способен оценить шутку про «Как поживает ваша сова»?

Мы шли вдоль Москвы-реки, был теплый солнечный сентябрь, мы ели мороженое. Марк сказал:

— Здесь так ветрено. У тебя холодные пальцы. Ты замерзла?

— Нет, все в порядке.

— Но руки холодные, — сказал он с тревогой, взяв меня за руку. — Знаешь что, спрячь-ка ладошку в задний карман моих джинсов. Вот сюда. Лучше?

Я, смеясь, отняла руку: «Отстань, сколько можно»

— Знаешь что, теперь у меня замерзли руки. В этой вашей России так холодно, сил нет никаких. Можно я тогда погрею руки?

— Хорошая попытка, Марк. В России так не принято, — снова улыбнулась я.

— Ох, какая ты жестокая. Ты хоть видела свою задницу? Боже, что за задница! Ей место в Лувре, честное слово! Рядом с Джокондой.

— Тебе кажется, она улыбается?

— Ха-ха-ха!! — сказал Марк и поцеловал меня в щеку. Я не прекращала есть мороженое даже в эту секунду.

А спустя почти год после нашего знакомства я вдруг поняла, что каждый день помню о его существовании и мне в самом деле интересно, как там поживает его сова. Я собрала чемодан, сказала «oui» и все же перевезла свою задницу поближе к Лувру, где, по словам мужа, ей давно уже — самое место.

Не все дома

Не кажется ли вам, что, по сути, каждый из нас — это два человека: один левый, другой правый? Один полезный, другой никуда не годный?

Кортасар Х., «62. Модель для сборки».

В Петербурге, в том его районе, где он едва ли походит на бывшую столицу, есть улица имени Джамбула. В городе-призраке, на улице имени поэта, который давно умер, не умел писать и пел о том, чего никогда не бывало, есть старый дом. Который давно пора снести.

Там двор-колодец, стертые ступени, странный запах, в подъезде три этажа, на каждом по одной квартире.

Площадь той, что на первом этаже, сложно подсчитать, но впечатляет. Сначала длинный грязный коридор: по левую сторону две комнаты, по правую — дурно выкрашенная стена. В ней углубление непонятного назначения, спрятанное за траченной молью короткой шторкой. Вместо света в конце коридора — прокуренная насквозь мизерная кухня, на стенах которой вместо картин засаленные школьные плакаты про грибы и червей. Широко распахиваясь, легкая дверь каждый раз бьет в лицо четырехлетнему Володе Ульянову за разбитым посеревшим стеклом. Под обоями плесень, на потолке рыжие подтеки, на старом паркете комки пыли.

Узким кругом вокруг стола, липкого от разлитого вина, с серой перхотью сигаретного пепла, сидят люди слишком разные, чтобы найти общую тему. Они постоянно говорят.

— Свобода это хорошо, — сказала Бессонова, выдыхая сигаретный дым, — только страшно.

— По-французски свобода *liberte*, — ответил Третий.

— Уверен? — прищурился Максим.

— Да, — ответил Третий. (Он всегда был уверен.)

Все любили Крошечку Бессонову. Все, даже старшая Бессонова, которая никогда не упускала шанса довести младшую сестру до слез, поступая всегда ей назло.

Больше всех Кроху любил Рома. Он работал с Максимом в баре «Белград» — который в Петербурге возле Перинных рядов, его скоро закроют. Иногда Крошка заглядывала к ним по ночам и бегала взад-вперед перед стойкой, пытаясь заставить густой дым-

ный воздух заворачиваться вокруг нее вихрами. У нее не получалось, Максим на нее за это злился. У Ромы замирало сердце.

Сама Крошка любила только того, с кем спала теперь ее старшая сестра. Она преследовала его даже в метро. Нависала над ним тенью и смотрела пристально, пока он делал вид, что ее не замечает. И думала: «Самый умопомрачительный мужчина, когда-либо рожденный на земле, по определению мог влюбиться только в меня. Потому что ни одна женщина, когда-либо рожденная на Земле, не сумела бы так горячо полюбить каждый его недостаток — так горячо, как я люблю».

Напряженным ищущим взглядом Кроха упрямо гладела на того, кого ясно видела в своих объятиях, своим любовником, другом, мужем. Ненавидела его, обожала, била, отдавалась, рожала его детей и даже (о, Господи!) прощала его за все, — уже целых пять минут своей единственной жизни... Пока Максим, живший теперь с ее старшей сестрой, смотрел будто бы в сторону, бесцельно блуждая взглядом по вагону метро. А она-то, она была все время прямо перед ним! Она, единственная, в которую мог влюбиться этот самый умопомрачительный в мире мужчина.

По ночам лежа на нижней полке двухъярусной кровати в комнате, где жил Максим с Бессоновой, Кроха ждала его с работы. Она спала вообще-то, но, едва заслышав шорох его шагов на рассвете, тут же просыпалась и молча, с обожанием, наблюдала за ним. Пока Максим проходил вглубь комнаты, к окну, потирая красные от усталости и сигаретного дыма глаза. Он медленно стягивал с себя прокуренную футболку, расстегивал залитые текилой и ромом джинсы, кидал их на пол. Потом стоял еще с пару мгновений над кроватью, в которой спала, как пожарник, Бессонова на смятых простынях.

Крошка смотрела на него, а он стоял над старшей. Он стоял там совершенно голый.

Совершенно-голый.

Совершенный, голый!

И захлебываясь то молочной нежностью, то вспененным шампанским робких желаний, каждую ночь она училась любить в первый раз — пока Максим укладывался в постель к ее спящей старшей сестре.

Днем, где-то часов после двух, когда Бессонова заканчивала варить тошнотворную кашу, Крошка шла в комнату к Максиму —

будить его к завтраку. Думала, глядя на него, пока он лежал на постели у окна: «Ты так красив. Ах, как я разбила бы твое сердце! Нежно, кротко, почти бережно, сжала бы в кулачке и стукнула б об острый край — чтоб оно вытекло все, как яйцо». За этим занятием ее заставал обычно Рома, возвращавшийся только тогда в их комнату — спать на двухъярусной кровати, сверху (на нижней спала всегда Кроха). Бурча что-то и путаясь в одеяле, он старался скорее уснуть, когда Максим открывал один глаз и недовольно мычал, что еще не выспался. Где пропадал Рома после работы и до обеда, никто не знал и никогда не спрашивал. Рома был свободен. Именно так свободен, как мечтал Максим.

Они завтракали втроем: Максим, Бессонова и Третий (из-за него подумать о важном никогда не получалось). Крошка, худая, почти бесплотная, сидела на подоконнике и пускала дым (никто никогда не видел, чтобы она ела, а курила она не переставая).

— Зачем вы развесили школьные плакаты по стенам? — спросил Третий, глядя в окно.

— Надо было чем-то закрыть пустое пространство, — ответила Бессонова прикуривая.

Пальцы сжимают белый продолговатый стебель, чудесное ощущение, мягкий стержень нежно касается тонкой кожи. Еле уловимое потрескивание, едва слышное уху; глубокий вдох, медленный выдох.

Бессонова-старшая любила пустить дым через нос, при этом она всегда опускала глаза — что само по себе было ей несвойственно: слишком похоже на кротость. За курением Бессонова активно жестикулировала рукой с зажатой в ней сигаретой (иногда это была правая, иногда левая).

Максим сперва стучал сигаретой по столу, затем подносил ее ко рту и зачем-то дул в угольный фильтр, лишь после этого он касался губами самого краешка сигареты и поджигал.

Когда курил, не жестикулировал совсем, и руки его, обычно нервные, лишь в это время покоились. Впрочем, иногда он брал зажигалку и постукивал ею по столу (сигарету Максим всегда зажимал пальцами правой руки).

Крошечка держала сигарету в левой, потому что в энциклопедии для маленьких принцесс когда-то она вычитала, что если уж женщина курит, то только левой — и без вариантов. И все же ей всегда хотелось научиться, как Максим.

Третий не курил совсем. И пьяным его никто никогда не видел. Поэтому он был вправе высказываться на этот счет от лица великого и ужасного большинства и требовать перестать курить. Его никто не слушал.

— У нас в баре тусуются одни ботаники. Нажираются до синих мух и лезут спорить о высоком, — сказал Максим и постучал сигаретой по столу.

— В фиалке на подоконнике завелась мошкара, — ответила Бессонова, выдыхая.

— А потом они получают диплом и валят служить обществу. В этой стране, — продолжал Максим.

— Ты вообще бармен, — усмехнулась Бессонова.

— А я работаю в офисе, — с гордостью отметил Третий. В обществе это вроде как престижно.

— Потому что мне нужны деньги на мотоцикл, — раздраженно ответил Максим.

— Я была бы идеальной женой, — сказала Бессонова, опуская глаза и пуская дым через ноздри, — тому, кто никогда не женится.

— Сердце это всего лишь двигатель. А вместо любви — по трубкам сжиженный азот. Это опасно, — улыбнулся Максим.

— Хм, что еще мог сказать помешанный на скорости? — одобрительно выдохнула Бессонова.

— Ежедневно в Петербурге погибает 15 мотоциклистов, — сказал Третий голосом статистики.

— Помешанные на скорости — это проявление... Они помешаны на свободе, на том, что не подвластно большинству, что их пугает. Это как другое измерение, что ли, вне их четырех координат. Не «x», не «y», не «z», а «t».

— Это типа время, что ли? — напрягся вдруг Третий. Он, как и «все», этого не понимал.

— Я сегодня работаю во вторую смену, — сказала Бессонова, — Вернусь поздно, не засыпай без меня.

— Хорошо, — машинально ответил Максим, мысленно рассекая пространство на мотоцикле.

Когда Бессонова ушла работать на третий этаж, Максим с Третьим сели за ноутбук играть в гонки вдвоем.

Под вечер своего выходного дня Рома уезжал кататься на мотоцикле с одной из случайных подружек. Он с ними знакомился в «Белграде», который скоро закроют. Аккуратно записывал номер мобильного и наливал исподтишка 50 грамм текилы бесплатно. Особо симпатичным даже собственноручно солил дольку лимона в придачу (так делает Ромин любимый актер, но вообще это неправильно. Именно поэтому он так и делал. А Максим об этом только мечтал). Потом Рома подмигивал новой знакомой и уходил в другой конец стойки работать, на прощанье подняв перед лицом ладонь. В выходной он звонил какой-нибудь из них (способ выбора сам называл «рандомным»: это было модное словечко в «Белграде», который скоро закроют). Всех девушек без исключения он сажал «утром» своего выходного дня на мотоцикл и с той поры именовал «нажопницами». Имена было трудно запоминать. Да и какая, в сущности, ему была разница.

Максим всю жизнь мечтал о мотоцикле. Но никто никогда не слышал, чтобы он говорил об этом прямым текстом.

Вернувшись, Бессонова застала Максима с Третьим на том же месте, за игрой. Она села к ним за стол и прикурила. Держа в левой руке, подожгла еще одну сигарету и с мгновение смотрела на них, игравших с красными глазами. Потом резко захлопнула ноутбук прямо у них перед носом и на все их недовольные крики только и сказала, что «на» Максиму. Они вдвоем молча стали курить, и Третий тоже притих.

— Вот эти грибы ядовитые, — указал пальцем Третий.

— Я давно не была в лесу, — Бессонова выпустила дым сигарет через нос и опустила глаза.

Крошечка вскочила с подоконника и стала дергать Бессонову, выражая готовность отправиться в лес хоть сейчас. Старшая бесстрастно переводила взгляд с пустого подоконника на Максима, потом на Третьего и обратно, будто Кроши не было совсем. Все молчали.

— Но ты ведь так хочешь, — шепнула младшая в самое ухо Бессоновой. — Ты, наверное, и не помнишь уже, как там пахнет...

Бессонова вздохнула: «Может, поехали?»

— На чем? Денег нет, — нахмурился Максим.

— Зачем тебе? Поехали на электричке.

— Ненавижу поезда, ты же знаешь. Сил нет, я устал на работе.

— У тебя выходной завтра, — напомнил Третий.

Бессонова выдохнула через нос, прикрыла глаза. Максим встал из-за стола и ушел в комнату кому-то звонить. Крошка продолжала теревить сестру, уговаривая ехать в лес вдвоем. «Когда ты исчезнешь наконец?» — прошептала ей Бессонова и вышла. Она пыталась закрыться в ванной, но младшая проскользнула за ней.

— Я так устала от вашего дыма. Я уже не помню, как пахнет свежий воздух, — ныла Кроха.

— Почему бы тебе тогда не бросить курить? Или не уйти куда подальше? Ты так меня достала, я не хочу ничего помнить, неужели ты не понимаешь? Ты когда-нибудь оставишь меня в покое? — спросила Бессонова, плача от злости.

— Почему ты так? Мы же с тобой такие одинаковые! — заплакала Крошечка.

— Ну да, — усмехнулась Бессонова, — Ты слушаешь французский рэп, а я Эдит Пиаф и Билли Холидей... потому что Максима только они не раздражают...

— Они француженки!

— Только одна.

— Мы любим Максима!

— Только ты. И научись наконец говорить в прошедшем времени. В конце концов, кроме него ты ни к чему не имеешь отношения.

— Как ты можешь? Максим абсолютно великолепен — сейчас. Опять с трехдневной щетиной, сегодня поздоровался со мной молча: чмокнул в щеку, жуя что-то, и прошел мимо. И его эта манера не интересоваться даже формально, как у меня дела, сводит меня с ума окончательно.

— Ненавижу его за это. Выйди вон, я помоюсь и лягу спать.

Крошечка Бессонова, засыпая одна в своей кровати, мысленно повторяла про себя:

Максим не спрашивает, делает молча и без предупреждения то, что решил — как угодно, хоть насильно.

Максим жесток, но уверен.

Максим резок, но справедлив.

Он может ошибиться, но не спасовать.

Максим снисходительно улыбается в ответ на мой лепет и молча утирает слезы моих истерик своей большой сухой ладонью.

Максим не кричит о любви — он просто бывает рядом.

Он невыносим.

Я люблю его невыносимо.

Мечтая перед сном, Бессонова-старшая твердила, как заклинание:

Мой мужчина не спрашивает, делает молча и без предупреждения то, что решил — как угодно, хоть насильно.

Мой мужчина жесток, но уверен.

Мой мужчина резок, но справедлив.

Он может ошибиться, но не спасовать.

Мой мужчина снисходительно улыбается в ответ на мой лепет и молча утирает слезы моих истерик сухой ладонью.

Мой мужчина не кричит о любви — он просто бывает рядом.

Он невыносим.

Я буду любить его невыносимо.

Подумав так, Бессонова села на постели и глянула на Максима, спавшего рядом и видевшего тревожные сны (как всегда). Крошка, заметив ее, тут же прибежала и присела на полу у ног старшей сестры. Бессонова только горестно вздохнула, глядя на младшую:

— Девочка моя, я его так знаю... Буквально читаю. Это так легко, что даже страшно.

— Как ты можешь знать, о чем думает другой человек?

— Со временем смогла. Теперь это легко... Когда он думает или не думает обо мне. Остальное меня не интересует.

— Да мало ли! Завтра будет по-другому. Зачем тебе знать это?

— Крошечка, незачем. Но знаю точно. Это так легко, что даже страшно.

— Ты не можешь уйти от него. Мы больше никому не нужны, — снова плакала младшая.

— Я не уйду от него. Но мы ему не нужны.

— Ты ведь знаешь, что хуже станет только тебе.

— Да, я действительно раньше была в этом уверена. Но... А ты знаешь, каково это: видеть сны, которые ничего не значат? Отвечать на звонки, которых не ждешь? Не спать по ночам просто так? Не давать обещаний, потому что исполнять их будет просто лень? Не ждать от жизни сюрпризов, не ждать совсем ничего? Ты — знаешь?

— Не знаю. Я каждый день жду, когда придет Максим, и он всегда приходит.

— Но ведь не к тебе. И он все время хочет, как Рома.

— С чего ты взяла?

— Максим бормочет во сне. Неужели ты думаешь, что он осмелился бы сказать мне об этом?

— Ну и что? — младшая сломала сигарету, которую теребила все это время. — Максим никогда меня не любил, я знаю. — Крошка снова начала рыдать, Бессонова сползла с кровати и села рядом с ней на полу.

— И не надо, — ответила, глядя в мутное окно.

— Как не надо?! — подняла глаза Крошка.

— А зачем? Достаточно того, что он нас не гонит, у нас есть дом.

— Но ведь я так больше не могу...

— Да, я думала, что так не смогу. Но все будет тихо. Просто тебе скоро придется уйти.

— А если нет? Если я не уйду?

— Дура, что говоришь? — Бессонова обхватила ладонью ее лоб и глаза, чтобы сестра не видела в ее глазах страха. — В конце концов, чего ты хочешь? Это не я сбежала от родителей в никуда. Максим не должен тебя любить: вполне достаточно того, что он тебя терпит.

— Ты думала так, когда сказала ему, что беременна, чтобы он скорее забрал тебя с собой? — Крошка плакала. Старшая все так же молча держала влажную ладонь у нее на лбу, чуть прикрывая ее глаза. Затем поднялась и молча поплелась на кухню курить.

На кухне сидел Третий и пытался читать какой-то массовый детектив в яркой бумажной обложке.

— Все очень просто, — сказала Бессонова, садясь за стол напротив него. — Для того, чтобы обеспечить свое спокойное будущее, достаточно не любить. Никого, — она прикурила. — Кроме себя самой, — выдохнула и улыбнулась.

— Маяковского не любила Лиличка.
— Бросила. А он-то ее любил. Дура, как все мы.
— Все мы произошли от обезьян, — со значением произнес Третий и снова углубился в свою книжицу.
— А как насчет дядьки с бородой, которого Богом иногда называют?
— Не знаю таких, — ответил Третий, не отрываясь от чтения, — Если мне его кто-то покажет, я, может, еще подумаю о нем, а так... — Он равнодушно пожал плечами.

— Поговори со мной о любви, — вдруг сказал Третий, откладывая книжку в сторону.

— А что о ней говорить, — спокойно ответила Бессонова, потирая глаз рукой с зажатой в ней сигаретой. — Любовь либо есть, либо ее нет. Если есть, то что о ней ни говори, это ничего не изменит. А если ее нет... А если ее нет, так о чем вообще речь?

Прошло еще часа два, Бессонова курила, а Третий декламировал ей то стихи из школьной программы («Белеет парус... одинокоокий. Златая цепь на дубе том...»), то теоремы из курса геометрии, то про звезды говорил (это на физике было). И вдруг она его перебила:

— Хм...

— Что «хм»? — не понял Третий.

— Я просто думаю... Куда все подевалось?

— Что все?

— Что люди называли любовью, — Бессонова снова прикурила.

— Он никогда тебя не любил.

Ножом по шелковому сердцу. Небрежно, почти шутя.

— Знаю. Женщины всегда знают это, даже раньше вас... Когда вы и сами еще не понимаете, — она выпустила дым через нос, закрыла глаза.

— Тогда зачем ты с ним?

— А я не с ним: мы просто спим вместе. Мне надо где-то жить, я не могу быть одна... Он мне нужен. Это твои меня научили так думать, помнишь? Там, на третьем этаже.

— Почему бы тебе не быть с тем, кто тебя любит?

— Кто сможет полюбить меня такую?.. А хочешь, поцелуй меня, — Бессонова затушила сигарету, лукаво глядя исподлобья.

— Да перестань ты, в самом деле. — Третий порывисто встал, стал шарахаться по мизерной кухне, брал предметы, снова ставил их на место.

— Целуй уже, хочешь ведь. Только не требуй ничего потом.

Третий стоял за ее спиной, нервно дергая чайный пакетик за нитку в чашке:

— Как понять? Ты либо наша, либо ты сама себе царица.

— Поцелуй это обещание, которых я не даю. Ты же все понимаешь... Но я их требую, — Бессонова улыбнулась.

— Ты сбежала из дома с ним. Почему?

— Потому что мы думали, что трава в чужом городе зеленей.

— Зачем ты до сих пор с ним?

— Потому что никто больше не звал меня за собой, — сказала Бессонова, запрокинув голову так, чтобы видеть его. Протянула к лицу Третьего руки, пальцы растопырены. Борясь с собой, он все же наклонился. Она могла нарушить их общественный покой там, на третьем этаже — он не хотел быть ответственным за это. А Бессонова, смеясь, целовала его подушкообразные губы, лишь уголки: то правый, то левый, снова. Потом вдруг села ровно, снова спиной к нему и, как ни в чем не бывало:

— Пойду лягу.

Встала и ушла.

Лежа снова в постели с Максимом, она думала о Третьем. «Такие, как он, это люди-функции. Такие даются нам, чтобы мы что-то поняли о своей жизни, но потом они в ней не остаются. Незачем. О них быстро забывают и потом думают, что до всего в этой жизни дошли будто бы сами».

— Почему ты не возненавидишь Третьего тогда? — дрожащим голосом спросила Крошка в темноте.

— Я говорила тебе, что ненавижу его. Что с того? Максим всегда говорил, что по части ненависти каждый становится пистолетом с загнутым дулом: в кого бы ни целился, попадает все равно только в себя. Во всем, за что я его ненавижу, на самом деле виновата я сама. Я тоже на третьем этаже бываю, я их составляющая, но ведь не пыталась ничего изменить.

— Ты никогда не пыталась жить своей жизнью, проживала то Максиму, то Третьего... Раз так вышло, иди и живи сама по себе, все так делают.

— Прости. Я все еще не овладела искусством быть как все те, которые как Рома или ты.

— Да?.. А любовь?..

— Это у тебя она была. А если ее никогда не было, это вовсе не означает, что уже и не будет... Впрочем, и наоборот, к сожалению, тоже.

— Что наоборот?

— Даже если любовь у тебя всегда была, это еще не значит, что она у тебя всегда будет. И вот от этого мне страшно, — Бессонова поежилась под одеялом.

— Третий никогда не скажет тебе о любви красиво, не станет тебя беречь, не поговорит по душам. Он на такое просто не способен!

— Почему бы тебе не позволить каждому любить так, как он умеет? — отрезала Бессонова. — Красиво или молча, Кроха, лишь бы в принципе любил.

— Но ты ведь не любишь его совсем, не любишь! Ты не можешь уйти из этой комнаты совсем, не можешь! Знаешь, как будет, когда завтра Максим в шесть утра придет домой с работы?

— Будет тихо.

— Тысячей голок что-то вопьется в кончики пальцев и куда-то неопределенно в грудь. По телу дрожью тепло рук. Которые имеют право на все... — Кроха говорила с придыханием.

— Но коснутся только твоей щеки, — твердо оборвала ее Бессонова. — И знаешь зачем? Только чтобы проверить, уснула ты наконец или нужно еще тихонько подождать.

— ...Мы заигравшиеся дети, — мрачно изрекла Бессонова. — Мы потерялись на рынке чужого труда.

Бессонова снова встала с кровати и побрела в комнату Третьего. Он не спал, сразу вскочил с постели и подошел к ней.

«Этот одеколон уже у кого-то был. У кого — я не помню, именно это меня и смущает. По крайней мере, я не в состоянии уже вспомнить, от кого я почувствовала этот запах впервые», — думала Бессонова, пока Третий что-то бормотал ей, пытаясь обнять.

Она отстранилась и села по-турецки на стул у его письменного стола, закурила. Поморщив нос, почесала затылок и заикнулась о чем-то, но смолчала. Вздохнула разок, затаилась, выпустила дым через нос. Третий сидел напротив нее на своей кровати.

— На самом деле, мне бы выспаться. Завтра на работу, — сказала Бессонова и стряхнула пепел с сигареты на какие-то бумаги на его столе.

— Там договоры... — Третий метнулся к ним, стряхнул пепел и достал чистые листы бумаги вместо своих документов.

— Это важно? — усмехнулась Бессонова.

— Мне за это платят. Я люблю свою работу.

— Как ее можно любить?

— Смотря какую. Зачем ты ходишь на свою работу, которая отнимает у тебя столько сил и времени? Ты же не тратишь даже этих денег, — у Третьего всегда наготове совет.

— Почему же? Часть, которую не отдаю Максиму на общие нужды, я отдаю Крохе.

— Зачем?

— Чтобы она не рассказывала мне историй.

— О чем?

— О себе.

— И что она с ними делает?

— Топит ими печи.

— Чьи?

— Чужие.

— Зачем ты тогда ходишь на эту работу?

— Нужно чем-то занять не востребованное никем время.

Крошка тихо села рядом с Бессоновой за стол. Неумело курила: прилежно, положив свободную руку перед собой, как первоклассница, под еще не до конца сформировавшуюся грудь. Она пыталась копировать движения сестры, и эти ее потуги вызывали всегда снисходительную улыбку Бессоновой. Неумело держа сигарету, младшая пускала дым в глаза, жестами будто пытаясь отгородиться от всего мира сразу. Лучше б она не курила совсем.

Повременив еще немного, Бессонова молча докурила сигарету, встала и ушла. Третий не нашелся, что сказать ей.

Утром Рома вернулся на своем мотоцикле домой, с оглушительным ревом пролетев мимо окон. Максим и Бессонова оба прилипли к стеклу, разглядывая вожделенный металл.

— И что ты в них находишь? Уродцы, — фыркнула она.

— Красавцы! Непонятные, как женщина. Два колеса, а не падает... Посмотри на силуэт человека на мотоцикле. В движении он полностью погружен в процесс. Он будто в другом измерении!

— Бред, по-моему.

— Знаешь, когда у тебя полный бак, жизнь налаживается, — мечтал Максим. — Впереди всегда много километров пути, и невольно появляется улыбка. Добрая такая. Ты ощущаешь свободу.

— Свобода это хорошо. Если есть куда вернуться, — выдохнула Бессонова, опустив глаза.

— Зачем куда-то возвращаться, если впереди целый мир?

— Страшно ехать в никуда. Да и зачем, если есть дом?

— Помнишь Аюра?

— Твой монголоидно-буддийский друг-алкоголик?

— Да. Он позавчера упился в мусор и достал из кармана измятую мандалу.

— Что такое?

— Картинка, вроде лабиринта, для медитаций... Я почему-то сразу вспомнил о тебе.

— Ты мне ее покажешь?

— Не нужно это.

— Тогда зачем ты мне рассказал?

— Аюр говорит, что разгадал ее. Хотя это невозможно.

— Почему?

— Невозможно разгадать то, что не является тайной. — Максим нахмурился и отошел от окна.

Вернувшись домой, Рома застал Крошку одну сидящей на кровати Максима.

— Если бы ты могла... Перестать оглядываться... Если бы ты только... Я покажу тебе свободу.

— Я люблю Максима.

— Ты его себе придумала. Тебе вообще-то все равно! — Рома хлопнул дверью и ушел.

Надо было что-то менять. Эта едкая мысль носилась в воздухе и была гуще дыма. Решиться нужно было до утра. Комнату то и дело пересекала жирная крыса из света от выезжающих со двора автомобилей.

Я редко спускаюсь к ним в квартиру. Это не так легко. Но точно знаю, что до сих пор в жилище Крохи, Ромы, Бессоновой и Максима ничего не изменилось. В их квартире по-прежнему полный

бардак и душно так, что не продохнуть. А форточки все вечно Кроха закрывает, чтобы громче говорить о прошедшем.

Я иногда бываю на втором этаже, и оттуда их бывает слышно. Туда я спускаюсь выпить с друзьями. Когда друзья молчат, а я, кусая губы, уже не чувствую боли, тогда становится слышно, как Бессонова говорит о надежности и тыле, Кроша ревет, что раньше все было иначе, Рома хлопает дверью и уходит каждый раз навсегда, а Максим бьется головой о стену, понимая, что никогда не осмелится поступить так, как Рома. Еще иногда слышно, как бубнит Третий о том, что так не делается, что у всех все по-другому, но ничего конкретного он никогда не говорит. На втором этаже тоже вечно накурено, но больше воздуха и постояльцы квартиры иногда меняются. Там мои друзья, с ними можно даже рассуждать вслух.

Почти всегда мне приходится жить наверху. Здесь круглые сутки маскарад и сплетни по углам. И двери не закрываются, как ни старайся. Зато всегда много гостей, Третий зааживает, Бессонова появляется время от времени, коллеги не дают скучать.

Есть одна проблема, и она беспокоит меня больше, чем что-либо. Когда я разговариваю с кем-то на третьем этаже, где теперь почти всегда живу, я не слышу собственного голоса.



Нина Матвеева-Пучкова

г. Уфа, республика Башкортостан



Историк искусства. Член Российского союза писателей. Издательством РСРП выпущен персональный сборник рассказов «Как будто время ни при чем...» (2016). Проза опубликована в сборнике «Проза-2016, кн. 2» (2016).

Из интервью с автором:

Живу в Уфе, иногда — в Екатеринбурге.

В своем непостоянстве судьба часто дразнила меня новыми надеждами и подталкивала к новым начинаниям; так, перефразировав Плутарха, могу обозначить пройденный мною путь.

В свободное время занимаюсь живописью и переводами.

**Ян Скацел (1922–1989),
чешский поэт, прозаик, переводчик**

Зноровы в ночи

На лугах белье развесили туманы,
а вдали криками выпи
и кваканьем лягушек
зеленела ночь.

По дороге,
что идет вокруг загуменя,
перед полуночью прибыл я в Зноров.

Ночь, как рваное пальто на выпасе,
прожженное огнем, который здесь виден на многие мили,

накрыла деревню.
Густая и плотная в Зноровах тьма.
Крепко дышат хлева
теплым и прелым духом.

Норовы в ночи. Между стодолами
деревья касаются крыш.
Сюда возвращались добрые сыны, украшены слезою,
иные шли в цепях
с повислыми волосами.

Слышал я так же, как будто вели меня,
и пинал я по дороге конский навоз
и беду.
На небе серпик пожинал звезды,
а ветер гнал тучи
через пустынные места.

Так я шел, как будто вели меня,
и свесил я голову, как вороново крыло.
Тихо плыла тьма,

блестел графит лошадиных волос,
неспокойно спали парни-зноровчане*.

* Зноров и Норовы — две деревни одного поселения.

Хорошие вещи

Среди хороших вещей, любимых мною, огонь
и черное серебро звезд
за опояском ночи.

Черное серебро да старые слова,
которыми посвящали в рыцарство:
выдержишь три удара и не более.

Среди хороших вещей люблю день,
когда весна кладет узду на доброго коня,
синюю узду
и розовые седла.

Каждый год возвращаться —
хороший замысел весны.

Из всех добрых вещей люблю нашу любовь,
ту старую, которая не умирает,
и говорю тебе снова и снова:

это существует вчера,
будет сегодня
и было завтра.

Выдержать только три удара и более ничего.

Разрыв

Мы одни,
будто бы нас кто-то обидел.
Тщетно ищу в карманах,
что мог бы тебе дать.

Но это не горе,
на мой взгляд,
и в рощах Моравии
иначе умирает любовь.

По лесам летел ноябрь,
как олень без головы.
Тело мохнатое
изваляно в листьях.

Падало,
падало в лесу грабовом,
непрерывно кружило,
и олень без головы
по лесу бежал
на тонких ногах
галопом.
Бежал и бежал,
в полях мчался,
в паху кровь
отъятой головы.

Второе стихотворение о Луне и человеке

Не бойся
и отринь эту малую печаль,
мы же не дети.
И все ж таки моя нежность
хотела бы уснуть под черной бузиной.
чтобы поймал меня
один день из моего детства.

Не бойся
и отринь эту малую печаль,
потому как мы давно уже муж и жена.
Мы ночь и день, и луна нашей ночи
падает, как срезанная роза.

Не бойся, когда буду под твоим боком засыпать,
проваливаться назад под черной бузиной,
чтобы меня удержал
один день моего детства,
чтоб я вернулся
и в руке держал розу,
только бы ты встретила меня вновь мечтательного.

Не бойся, это просто
приказ человека, жест Бетховена,
с которым солдаты прикладывают скрипки к щеке,
и с неба падает срезанная роза.

И падает с неба чистый, ясный дождь
на человеческие сердца, немного закопченные,
и ты огорчаешься,
что мы не дети,
что я муж и что ты жена.

Бабье лето

Вчера летел по ветру первый белый волос.
Он позвонил,
когда медленно упал на землю —
и слова

жесткие, непокорные слова
застряли в горле как рыба кость.

Лето мое,
ты уже тоже седеешь?

Так
придет завтра и осень.
Вновь все деревья облетят,
вновь будем спрашивать,
куда или к кому пойти.

И тишина, убогая как полевая мышь,
нам пискнет за спиной.

Лето мое,
и ты уже тоже седеешь?

**Юзеф Баран (род. 1947),
польский поэт**

ПИСЬМО

темнота бросила на берег
лучи света
далекой планеты
засушенные незабудки
потухшего дня
поставленные
в вазу с водой
начинают оживать
и вот пахнет твоим днем
во всей комнате
и ты возникаешь
из раскрывшихся лепестков
чаши пространства
я поднимаю к губам теплую облатку тела

Страх

ночью незрячей
в космическое путешествие
отправиться
на ощупь
без билета
без тела
на лазерной снежинке души

Сквозь мир идуций зов

полюби ты меня
я откликнусь ответно
прорастем мы в себя
чуть дыша и безмерно

я сокроюсь в тебе
ты исчезнешь во мне
смерть разыскивать нас
будет по миру тщетно

ВНОВЬ...

вновь меня выбрасывает
рассвет на берег
словно раковину
из клубящегося океана
в голове моей как в раковине
всю ночь гудело
Вечностью и Снами
все смешалось со всем
и все были всеми
и не было еще нарочитого разделения
на живых и мертвых

ПОТИХОНЬКУ...

Потихоньку
раскрылись
ставни сна
со всех сторон
полетела тоска
на подоконник
сел белый ворон бессонницы

не ты ли подумала обо мне во сне
в полночи

Ах сердце...

ах сердце
ночная бабочка безумная
покинутая в темных долинах
у подножия разума
трепещешь
опаленными крыльями
в погоне за тем
что велико и ярко
а все же
могла бы вспорхнуть выше
чтобы как на ладони увидеть
какое малое
трухой светящееся
это твое
воображаемое солнце

Солнце движется...

солнце движется в панике
день ото дня
убывает его сила и все раньше
трепещет в окне тьма ночи
земля склоняется к осени

ибо завлакивает туманом зеркало неба
в этом зеркале словно брошенный хлам
отражаемся мы в уменьшении

ибо отцвели в нас душистые метафоры
и в ладони насыпана горсть пепла
всех вдохновений майских

ибо грохочут в нас поля маковые
как размышляющие над тщетою мира
философов засушенные головы

Влюбленный открыватель

один изобрел колесо
другой построил судно на подводных крыльях
третий сделал три первых шага на Марсе
а я открыл Тебя
на этой удивительной планете
Земля
и с тех пор
на заре
меня будит радостная
как щегленок мысль
что ты действительно
существуешь...



Школьная фотография

Охватываем взглядом пору и время
мы миллионеры времени

смерть не осенила еще крылом
фон фотографии
мы разбрасываем время
полными горстями

в кармане бренчит связка ключей
от ста незнакомых ворот

жизнь светит нам прямо в лицо
сказкой из тысячи и одной ночи
мир еще существует
и все
буквально все
может случиться

БОГ ТАК ОДИНОК

Бог так одинок в предутренней рани
что играет на скрипке грусть
в завешенных паутиною стенах
любовники пробудились от сна

затаили дыханье слушают скрипку
растет в них безмолвно отдельность
(в стеклах старых зеркал отражается тьма
в ней белую смерть прядут пауки)

затаили дыханье нарастает ноктюрн
оппадают ночи пустые руки
когда болен одиночеством Бог
все слова стали не нужны

только свечу на ошупь зажечь
и сжигать в той свече две сплетенные тени
пока Бог облегченно не выпустит скрипку из рук
и ввысь упорхнет над ветшающим домом

Полет

Даже не ведаю когда
был запакован в белую капсулу
перетащен с кровати
через взлетную полосу
больничного коридора
надут наркозом
разогнан
запущен
лечу
пикирую
наподобие ракеты
в космос в небытие в черт знает что
со вскрытым животом
в котором грифы-скальпели
в белых кителях инопланетян
выклевывают внутренности
лечу
пикирую
вокруг ни Бога
ни черта
ничего
режут меня
хотя нет меня
на земле
на небе
ни одной звезды
час
два
три
режут меня
разве это еще я
разве это еще меня
ждет внизу Земля
и несколько любимых лиц
чтобы по возвращении стащить за ноги
на посадочную площадку жизни?

Баллада об эмигрантах

1

просыпаются среди ночи
отсеченные от пуповины своей страны
с замкнутыми устами
не чуя земли
под ногами
в течение минуты
смутно угадывают в них
затонувшие титаники детства

2

уже после трансплантации языка
длится трансплантация мозга
только пересадка сердца
все никак не удастся
и хотя старое слишком большое
похоже придется с ним умереть

3

опадает с глаз шелуха
и постигают они
что подлинная судьба
в непрерывном изгнании
с мест поочередно освоенных
начиная с зачарованных
горизонтов детства
и созревают до мысли
что смерть тоже эмиграция
за последнюю границу тела

Пьеса дом

поднимается занавесь двери
папа одетый под молодого пана
переносит через порог маму
красивую как лилия

сзади публика веселые гости
оркестр играет марш
занавесь опускается

занавес поднимается
вваливаются крышки гробов
исчезает дедушка наряженный в костюм
как камень в воду падает в вечный сон бабушка
занавес опускается

поднимается
крик сестры в колыбели
занавес
поднимается
брат с ручек
занавес
открываются мои глаза

занавес поднимается
со стула отец переодетый
под старого мужчину
благословляет молодую пару кланяется
уходит с подмостков
занавес

деревья на одной ноге заглядывают из сада
в окно аплодируя листьями
— это все
было вчера —
уширается мама

**Казимеж Швегодский (род. 1943),
польский поэт, литературный критик, философ**

Вещи

*Даже эти самые низкие вещи выросли надо мной,
облегли меня и душили.*

Святой Августин, Соп. VII, 7

Стол меня выслушал — замер,
Не подчинился, в древесине застрял.
Только пол пошел наверх
Упорно, как жар.
Над головой еще потолок завис
в ожидании знака,
пока вчетверо стены сожмутся
в обозначенье конца света.
И оказался я в центре сущности —
вещь особая.
Стол от меня отрекался, потолок отрицал.
Верное слово!
Так что разгомонились стихии
и надо мной
встали разом все столы,
древесиной полны.
И был я сам, как та стихия,
которой тело, —
что в собственных берегах не может длиться, —
на мир летело.
И возник на свете большой хаос,
и вещей последний крик,
потому что я, как Бог, в этот мир врался,
а он на моих глазах исчезал.